

Пушкина на моих глазах на картине Наумова – убили, ежедневно, ежечасно, непрерывно убивали все мое младенчество, детство, юность – я поделила мир на поэта – и всех, и выбрала – поэта...» [2]. Так родился мир Цветаевой, мир поэта контрастов, поэта крайностей, певца большой любви и большой трагедии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Цветаева М.И. Собр. соч.: в 7 т./ сост. А. Саакянц

и Л. Мухин. – М.: Эллис Лак, 1994. – Т. 1.

2. Цветаева М.И. «Мой Пушкин». Собр. соч.: в 7 т. / сост. А. Саакянц и Л. Мухин. – М.: Эллис Лак, 1994. – Т. 5.

3. Цветаева М.И. Любви старинные туманы: стихотворения 1911-1921 гг. Ред.-сост. И.А. Курамжина. – М.: Центр-100, 1996.

4. Цветаева А.И. Воспоминания. В 2. т. – М.: Бослен, 2008. – Т. 1.

5. Пропп В.Я. «Исторические корни волшебной сказки». – М.: Лабиринт, 2008.

УДК 82-1 “18”

Науман И.В.

СВОЕОБРАЗИЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ XVIII ВЕКА В ОЦЕНКЕ Н.В. ГОГОЛЯ*

Аннотация. В статье рассматривается программное положение литературно-критического наследия Н.В. Гоголя о своеобразии развития русской поэзии.

В основу работы положено исследование Н.В. Гоголя «В чём же, наконец, существо русской поэзии и в чем её особенность», где выдающийся русский писатель размышляет об источниках русской поэзии.

Ключевые слова: источник русской поэзии, огниво европейского просвещения, торжествующий пафос русской поэзии.

I. Nauman

ORIGINALITY OF DEVELOPMENT IN RUSSIAN POETRY IN N. GOGOL'S VIEW

Abstract. The article speaks about the program thesis of Gogol's literature-critical inheritance on the originality of development in Russian poetry.

The basis of work is the article of N. Gogol «What is, finally, the essence of Russian poetry and what is its feature», where the outstanding Russian writer reflects on Russian poetry sources.

Key words: source of Russian poetry, spark of the European education, triumphing pathos of Russian poetry.

В русском литературоведении обычно вызывают большой интерес научные исследования о жизни и творчестве Н.В. Гоголя [1], его духовной прозе [2], философских [3] и богословских [4] убеждениях. Однако, к сожалению, в литературоведческих работах не

находит полного отражения его литературно-критическая деятельность.

Между тем, в литературно-исторической эстетике Н.В. Гоголя важное место занимает программное положение о существе и особенностях русской поэзии [5].

Несмотря на внешние признаки подражания, в нашей поэзии, по мнению Гоголя, есть очень много своего. Самородный ключ её уже бил в груди народа тогда, как само имя русской поэзии ещё не было ни на чьих устах. Струи его пробивались в наших песнях, в которых мало привязанности к жизни и её предметам, но много привязанности какому-то безграничному разгулу, к стремлению как бы унести куда-то вместе со звуками. Струи его пробивались, считает Гоголь, в пословицах, поговорках наших, в которых видна необыкновенная полнота народного ума, умевшего сделать всё своим орудием: иронию, насмешку, наглядность, меткость живописного соображения, чтобы составить животрепещущее слово, которое принимает насквозь природу русского человека, хватая за всё живое. Струи его пробиваются, наконец, по мнению писателя, в самом слове церковных пастырей – слове простом, некрасноречивом, но замечательном по стремлению стать на высоту того святого бесстрастия, на которую определено взойти христианину, по стремлению направить человека не «увлечением сердечным, но к высшей, умной трезвости духовной».

Всё это пророчило для нашей поэзии какое-то другим народам неведомое, своеобразное развитие. Но не из этих трёх источников, уже в нас пребывавших, считает Гоголь, ведёт начало наша сладкозвучная поэзия, ныне нас

* © Науман И.В.

улаждающая; так же, как и государственное строение произошло не из начал, уже пребывавших в земле нашей.

При великом реформаторе, – Петре Великом, – Россия вдруг облеклась в государственное величие, заговорила громами и сверкнула отблеском европейских наук.

Восторг этот отразился в нашей поэзии, или, лучше сказать, он создал её. Вот почему поэзия с первого стихотворения, появившегося в печати, приняла у нас торжествующее выражение, стремясь высказать в одно и то же время восхищение от света, внесенного в Россию, изумление от великого поприща, ей уготованного. С этих пор стремление к свету стало нашим элементом, шестым чувством русского человека. И оно-то дало ход нашей нынешней поэзии, внеся новое, светоносное начало, которого не видно было ни в одном из тех трёх источников, о которых упомянуто вначале.

Жизнеутверждающий реформаторский петровский импульс государственного строительства нашёл свое литературное выражение в творчестве крупнейшего русского гения XVIII столетия, каковым явился М.В. Ломоносов. По мысли Н.В. Гоголя, поэтом Ломоносова делает случай. Восторг от победы русского оружия подталкивает написать его первое поэтическое произведение – *«Оду блаженныя памяти государыне императрице Анне Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятии Хотина 1739 года»*.

Но впопыхах, считает Гоголь, поэт занял у немцев размер и форму, какие у них на ту пору случались, не рассмотрев, приличны ли они русской речи. Современное литературоведение иначе рассматривает преобразование русского стиха Ломоносовым. Силлабо-тоническое стихосложение, обоснованное Ломоносовым в *«Письме о правилах российского стихотворства»* (1739), соответствовало природе русского языка, обладающего подвижной системой ударений. Нет и следов творчества, в представлении Гоголя, в Ломоносовских риторически составленных одах. Но восторг уже слышен повсюду, где ни прикоснется он к чему-нибудь близкому «научно-любивой» его душе.

Коснулся он, например, северного сияния, бывшего предметом его ученых исследований, и плодом этого прикосновения, считает Гоголь, стала ода *«Вечернее размышление о Божьем величии»*: вся величественная от начала до конца, которой никому не написать, кроме Ломоносова. Те же причины поро-

дили, по мнению Гоголя, известное послание к Шувалову *«О пользе стекла»*. Всякое прикосновение к любезной сердцу его России, на которую глядит он под углом её сияющей будущности, наполняет его силой чудотворной. Среди холодных строф льются у него такие строфы, что не знаешь сам, где ты находишься. Выражаясь его же словами:

*Божественный пророк Давид
Священными шумит струнами,
И Бога полными устами
Исайя восхищён гремит.*

Всю русскую землю озирает он от края до края с какой-то светлой высоты, любуясь и не налюбуюсь её беспредельностью и девственной природой. В описаниях его Гоголь видит взгляд скорее учёного-натуралиста, чем поэта, но чистосердечная сила восторга превратила натуралиста в поэта. Восхитительно то, по мнению Гоголя, что, заключив свою стихотворную речь в узкие строфы немецкого ямба, он ничуть не стеснил языка. Язык у него движется в узких строфах так же величественно и свободно, как полноводная река в нестесненных берегах. Он у него, в представлении Гоголя, свободнее и лучше в стихах, нежели в прозе. И недаром Ломоносова называют отцом нашей стихотворной речи. Изумительно и то, что начинатель уже явился господином и законодателем языка. Ломоносов стоит впереди наших поэтов, считает Гоголь, как вступленье впереди книги. Его поэзия – начинающийся рассвет. Она у него подобна вспыхивающей зарнице, освещает не все, но только некоторые строфы.

Сама Россия является у русского гения только в общих географических начертаниях. Он как бы заботится только о том, замечает Гоголь, чтобы выполнить как бы первоначальный набросок того, что впереди, чтобы набросать один очерк громадного государства, наметить точками и линиями его грань, предоставив другим наполнить красками.

С лёгкой руки Ломоносова оды вошли в обычай. Торжество, победа, иллюминация и фейерверк стали предметом од. Подражатели их выразили только бездарность. Исключить из них можно, считает Гоголь, одного Петрова, не чуждого силы и стихотворного огня, он был действительно поэт, несмотря на жесткий и черствый стих свой. Все прочие наполнители, по мнению Гоголя, только риторически холодный склад Ломоносовских од, которые показали вместо благозвучия Ломо-

носовского языка «трескотню» и беспорядок слов, терзающие ухо. Но огниво уже ударило по кремнию, поэзия уже вспыхнула, ещё не успев отвести руку от лиры Ломоносова, как уже заводил, в представлении Гоголя, первые песни Г.Р. Державин.

Мысль о сходстве Ломоносова и Державина приходит на ум при первом же взгляде на них обоих, но тут же исчезает, в представлении Гоголя, как только всмотришься покрепче в Державина. Всем, даже самим воспитанием, последний являет совершенную противоположность первому. Как один весь предан наукам, считая стихотворство своё только развлечением и делом отдохновения, так другой предан весь своему стихотворству, считая многостороннее образование науками лишним, ненужным. То же самодержавное, государственное величие России слышится и у Г.Р. Державина, но у него уже видны не одни только географические очерки государства, а выступают люди и жизнь. Не отвлеченные науки, но наука жизни его занимает. Оды его обращены к людям всех сословий и должностей. И слышно в них стремление начертать закон правильных действий человека во всём, даже в самих его наслаждениях. У него, считает Гоголь, выступило творчество еще более исполинское и парящее, нежели у Ломоносова. Откуда только взялся в нем этот гиперболический размах речи? Остаток ли это нашего сказочного русского богатства, которое в виде какого-то тёмного пророчества носится до сих пор над нашей землей, преобразуя что-то высшее, нас ожидающее, или же отдаленное татарское происхождение навяло это на него. Что бы то ни было, но это свойство, по мнению Гоголя, изумительно. Иногда Бог весть как издали забирал он слова и выражения затем именно, чтобы стать ближе к своему предмету. Дико, громадно всё, но где только помогала ему сила вдохновения, там с неестественною силою оживает предмет, так что кажется, как бы тысячью глазами гладит он.

Гоголя особенно восхищает стихотворение «Водопад», где, кажется, как бы целая эпопея слилась в одну стремящуюся оду. В «Водопаде» перед Г.Р. Державиным другие поэты, считает Гоголь, пигмеи. Природа там как бы выше той, что нами зрима, люди могут, нежели те, которые нами зримы. И даже наша обыкновенная жизнь перед величественной жизнью, там изображенной, точно муравейник, который где-то далеко колыхается вдали.

О Г.Р. Державине, в представлении Гоголя, можно сказать, что он *певец величия*. Всё у него величаво: величав образ Екатерины, величава Россия, озирающая себя в осьми морях, его полководцы-орлы – словом, всё у него величаво. Заметно, однако же, постоянным предметом его мыслей, более всего его занимавшим, было начертить образ какого-то крепкого мужа, закалённого в деле жизни, готового на битву не с одним временем, но со всеми веками; изобразить его таким, каким он должен был возникнуть из крепких начал нашей русской породы, воспитавшись на непоколебимом камне нашей церкви.

Часто бросив в сторону то лицо, которому написана ода, он, по мнению Н.В. Гоголя, ставит его на место своего непреклонного, правдивого мужа. Сравнительно с другими поэтами, у него всё глядит исполином. Его поэтические образы, не имея полной окончательной пластичности, как бы теряются в каком-то духовном очертании и оттого приемлют еще больше величия. Например, поэт изображает старца Каспия в то время, когда он, рассерженный бурей,

*Встаёт в укор её волнам:
То скачет в твердь, то, в ад стремясь,
Трезубцем бьёт по кораблям;
Столбом власы седые вьются,
И глас его гремит в горах.*

Тут, казалось, Державин хотел создать зримо образ старца Каспия, но, по мнению Н.В. Гоголя, потерялся в каком-то духовном незримом очертании. Ухо слышит один гул гремящего моря, и вместе с седыми власами старца подымается волос на голове у самого читателя, поражённого суровым величием картины.

Всё у него крупно, замечает Гоголь. Слог у него так крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разрезав анатомическим ножом державинский стих, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми, на что никто не отважился бы, кроме Державина. Кто бы, кроме него, выразился так, как он о своём величественном муже в ту минуту, когда он всё испытал, что нужно на земле:

*И смерть, как гостью ожидает,
Крутя, задумавшись, усы.
(«Ариштипова баня», 1811).*

Кто, кроме Державина, вопрошает Го-

голь, осмелился бы соединить такое дело, каково ожидание смерти, с таким ничтожным действием, каково кручение усов? Но именно через это ощутишь видимость самого мужа, и какое меланхолически-глубокое чувство остается в душе!

Но надобно сказать, что как это, так и другие исполинские свойства Державина, дающие ему преимущество над прочими нашими поэтами, превращаются, к сожалению, в неряшество и безобразие, как только оставляет он одушевление. Тогда всё в беспорядке: речь, язык, слог – всё скрипит, как несмазанная телега с невымазанными колесами. И стихотворение, сравнивает Гоголь, – труп, оставленный душою. Следы собственного неоконченного образования, как в умственном, так и в нравственном смысле, заметно отразились на его творчестве. Если бы воспитание у такого мужа было полное, не было бы поэта, по мнению Гоголя, выше Державина.

Теперь же остаётся он как невозделанная громадная скала, перед которой никто не может остановиться, не будучи пораженным, но перед которой долго не застаивается никто, спеша к другим местам, более пленительным.

Ещё Державин ударял в струны своей лиры, как уже всё вокруг него, констатирует Гоголь, изменилось, – век Екатерины, полководцы-орлы, вельможная роскошь и вельможная жизнь унеслись, как сновидение. Наступил век Александра I, опрятный, благопристойный, вылощенный. Всё застегнулось и стало наперерыв приобретать наружное благоприличие и стройность поступков. Французы стали, по представлению Гоголя, образцом всему и, так же как щёголи Парижа, завладели надолго нашим обществом. Ловкие французские поэты завладели было на время русскими поэтами. К чести, однако ж, верного поэтического чутья нашего, замечает Гоголь, не задели. В образец пошел только один Лафонтен затем именно, что был ближе к природе.

Дмитриев, Хемницер и Богданович стали производить подобные ему в простоте произведения, обрабатывая те же предметы. Русский язык вдруг получил свободу и легкость перелетать от предмета к предмету, незнакомому Державину. Вместо оды поэты стали пробовать все роды и формы поэзии.

Дмитриев, по мнению Гоголя, показал много таланта, вкуса, простоты и величия во всем, которыми убил напыщенность и высокопарность, нанесенные бездарным подража-

телям Державина и Ломоносова. Но поверхностность эпохи, жалеет Гоголь, не могла дать богатого содержания нашей поэзии. Одно общесветское стало её предметом, и она сама сделалась похожей на умного и ловкого светского человека, который сидит в гостиной и ведёт разговор. Не затем, чтобы поведать душевную исповедь свою или подвигнуть других на какое-то важное дело, но затем, чтобы просто повести разговор и пощеголять умением вести его обо всех предметах. Последние звуки Державина умолкли, в представлении Гоголя, как умолкают последние звуки церковного органа, и поэзия наша по выходе из церкви вдруг очутилась на бале.

От одного только *Капниста* исходил аромат истинного душевного чувства, дотоле незнакомаго. В качестве примера Гоголь приводит его «Деревенский домик в Обуховке» (1818).

Но не могла оставаться долго наша поэзия, считает Гоголь, на этой поверхностной светской верхушке. Уже пробуждена была её чуткость от петровского удара европейским огнём. Вдруг поняла она, что от французов, в своё воспитание ничего, кроме ловкости не переймет. И обратилась к немцам.

В немецкой литературе, в это время происходило явление странное, замечает Гоголь. Незъяснимые грёзы, таинственные предания, необъяснимые чудесные происшествия и тёмные призраки невидимого мира, мечты и страхи, сопровождающие человека, стали предметом немецких поэтов. Можно бы назвать такую поэзию, по мнению Гоголя, шалостью школьника, если бы в ней не слышался тот младенческий лепет, который подаёт о себе бессмертный дух человека, требующий себе живой пищи.

Чуткая поэзия наша остановилась с любопытством младенца перед таким явлением. Её собственные славянские начала напомнили ей вдруг о чём-то похожем. Но при всем том, мы сами не столкнулись, считает Гоголь, с немцами, если бы не явился среди нас такой поэт, который показал нам весь этот новый, необыкновенный мир сквозь ясное стекло своей собственной природы, более доступной, чем немецкая.

Таким автором на заре новой литературной эпохи явился, по его мнению, В.А. Жуковский.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Воропаев В.А. Н.В. Гоголь: Жизнь и творчество. В помощь старшеклассникам и абитуриентам. –

- М.: МГУ, 1998. – 128 с.
2. Гоголь Н.В. Духовная проза / Сост. и коммент. В.А. Воропаева. И.А. Виноградова. – М.: Русская книга, 1992. – 560 с.
 3. Зеньковский В.В. Н.В. Гоголь // Зеньковский В.В. Русские мыслители Европа. – М.: Республика, 1994. – С. 27-37.
 4. Дунаев М.М. Гоголь // Православие и русская литература. Ч. 2. – М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, 1977. – С. 85-214.
 5. Гоголь Н.В. В чем же, наконец, существо русской поэзии и ее особенность / Выбранные места из переписки с друзьями. – Собр. соч. В 7 тт. Т. 6. – М.: Художественная литература, 1986. – С. 321-360.

УДК 821.161.1-31

Умникова Е.А.

ОБРАЗ СЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МИРЕ И.С. ШМЕЛЕВА*

Аннотация. В статье рассматривается роман И.С. Шмелева «Няня из Москвы», значимость, место и роль образа Николая Угодника в жизни его героев и русском православном сознании. Главные темы романа – путь страданий, заблуждений, искушений. Икона и молитва предстают здесь как образ духовной мощи и способности противостоять миру зла, как выход из критических ситуаций.

Ключевые слова: образ Николая Угодника, идея единения, молитва, икона, цельное православное мировоззрение.

Е. Umnikova

IMAGE OF CONSECRATOR NIKOLAY
IN ART WORLD OF I. SHMELEV

Abstract. In the article I. Shmelev's novel "The Nurse from Moscow", the importance, a place and a role of an image of Nikolay Ugodnik in a life of its heroes and Russian orthodox consciousness are considered. The main themes of the novel are the path of sufferings, delusion, temptations. The icon and the prayer appear here as an image of a spiritual power and ability to resist to the world of a harm, as an output from critical situations.

Key words: an image of Nikolay Ugodnik, idea of unification, prayer, an icon, integral orthodox outlook.

В книгах Ивана Шмелева почитание икон Спасителя, Богородицы, святых – одна из важных составляющих духовного мира русского православного человека. Уже в раннем творчестве, например рассказе «Человек из ресторана» (1911), иконе отводится важная роль – божественного покровительства нравственным поступкам верующих людей.

Мы догадываемся, какой образ запечатлен на «черненькой иконке», висящей «между валежков» в лавочке «теплого товару», [8, с. 148], потому что и спасенный юноша и спасший его старичок носят одно имя – Николай. Так целомудренно сокрытым появляется у писателя образ особенно почитаемого русскими людьми Святого – Николая Угодника, Святителя Мирликийского. За покровительство в самых тяжелых испытаниях, непримиримую борьбу за правду, заступничество за всех несправедливо обиженных и многое другое прославляется он как «великий Чудотворец».

Роман И.С. Шмелева «Няня из Москвы» (1933) — показательный пример многофункционального бытования образа «Никола-угодника» в православном мире.

Шмелёв глубоко осмыслил произошедшее в России (революция, гражданская война, вынужденная эмиграция, «рассеяние» по всему миру русских людей) и препоручил рассказать обо всем простой русской женщине, Дарье Степановне Синицыной, семидесятипятилетней, умудрённой жизнью и главное все воспринимающей через призму нравственных христианских законов. Поэтому совесть, мудрое терпение, трудолюбие, бескорыстие, всепрощение органичны для главной героини. Родина и вера для нее нераздельны. Каждый момент православного календаря («Под Николин день было» [1, с. 66]), куда бы ни забросила няню эмигрантская судьба, наполнен идеей единения со всеми верующими, памятью о России.

Няня одно знает: без Бога не прожить. Покров, заступничество Высших сил вселяют надежду на благополучное завершение всех испытаний.

Образ Николая Угодника становится

* © Умникова Е.А.